
ЯЗЫК И МЕНТАЛЬНОСТЬ

В. М. АЛПАТОВ

ЯЗЫК – СИСТЕМА ПРАВИЛ И ЯЗЫК – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Представления о языке могут быть разными. Обычная точка зрения предполагает, что это система правил. Такой подход сформировался в Античности, и его эксплицитная формулировка была предложена Ф. де Соссюром. Он и его последователи считали объектом лингвистики некоторые постоянные, стабильные явления. Однако В. фон Гумбольдт предложил другую концепцию: язык – не множество искусственных правил, а человеческая деятельность. Этот подход развивали К. Фосслер, В. Н. Волошинов и др. Генеративная лингвистика сочетает идеи Гумбольдта о творческом характере языка с формулированием правил. Современная функциональная лингвистика стремится выйти за пределы постоянных правил и изучать все языковые процессы, происходящие в мозгу. Изучение афазии разных типов и детской речи, нейролингвистические исследования показывают, что автоматические синтаксические и морфологические правила существуют, но процессы говорения и понимания не сводятся только к ним.

Ключевые слова: язык, речь, правила, грамматика, деятельность, мозг, ментальные процессы, лексикон, синтаксические правила, морфологические правила.

Один из вечных споров в истории языкознания заключается в том, как рассматривать объект данной науки: как систему правил или как человеческую деятельность.

Традиционно в европейской традиции изучения языка, а затем в развившемся на ее основе научном языкознании основным методом описания было формулирование множества правил. Так было и в древнейшей дошедшей до нас греческой грамматике Дионисия Фракийца (II век до н. э.), и в современном школьном учебнике

русского языка, и в большинстве научных грамматик. И простые орфографические правила вроде «жи, ши пиши через и», и парадигмы склонения и спряжения у древних греков и римлян, и сложные, использующие изощренный математический аппарат правила современных формальных грамматик имеют нечто общее. Везде предполагается выделение в языке (всегда или в определенный момент времени) некоторых постоянных свойств, подчиняющихся правилам. Разумеется, правила могут включать в себя и исключения. Теоретики и практики языкознания ищут в сложном многообразии наблюдаемых речевых явлений нечто постоянное, стабильное, повторяемое разными людьми одинаковым образом или с незначительными различиями. Выделяются отдельные единицы разного уровня (звуки, морфемы, слова, предложения), которые фиксируются в грамматиках и словарях; между этими единицами устанавливаются определенные отношения.

Так поступали самые разные исследователи языка (и не только в европейской традиции), первоначально бессознательно. Эксплицитно сформулировали такой подход в структурной лингвистике, начиная с ее основателя Фердинанда де Соссюра (1857–1913). В своем «Курсе общей лингвистики», изданном посмертно в 1916 году, он выделил среди многообразных явлений речевой деятельности основной объект лингвистики – язык (*langue*). Для пояснения своей точки зрения Соссюр использовал аналогию с шахматами, где «довольно легко отличить, что является внешним, а что внутренним. То, что эта игра пришла в Европу из Персии, есть факт внешнего порядка; напротив, внутренним является все то, что касается системы и правил игры» (Соссюр 1977: 61). «Внешняя лингвистика» – это то, «что чуждо организму языка, его системе» (Там же: 59). «Язык – не деятельность говорящего. Язык – это готовый продукт, пассивно регистрируемый говорящим; он никогда не предполагает преднамеренности» (Там же: 52). Это «социальный аспект речевой деятельности, внешний по отношению к индивиду» (Там же). «Надо с самого начала встать на почву языка» (Там же: 47), а «что касается прочих элементов речевой деятельности, то наука о языке вполне может обойтись без них» (Там же: 53). Прочие элементы обобщаются в едином понятии речи (*parole*), куда входит в том числе все относящееся к «индивиду» и функционированию языка в обществе. Соссюр отстаивал изучение языка строго в рамках лингвистики, а «распахивание дверей перед целым рядом наук: психологией, антропологией, нормативной граммати-

кой, филологией и т. д.» считал «методологической ошибкой» (Соссюр 1977: 47).

Такой подход преобладал в структурной лингвистике. Идеи швейцарского ученого позволили более строго и последовательно заниматься проблемами, которые и раньше находились в центре внимания большинства языковедов. Принадлежавший к школе Соссюра Шарль Балли (1865–1947) четко сформулировал это в изданной в 1913 году книге. Он писал: чтобы у исследователя «появился некоторый шанс уловить реальное состояние языковой системы... он не должен иметь ни малейшего представления о прошлом этого языка, он должен полностью игнорировать связь языка с культурой и обществом, в котором этот язык функционирует, чтобы все внимание исследователя было сосредоточено на взаимодействии языковых символов» (Балли 2003: 39). У него речь шла о французском языке, для которого такое игнорирование не соответствовало традиции, но «экзотические языки», в том числе изучаемые в полевых условиях, описывались и описываются таким образом. А датский языковед Вигго Брэндал (1887–1942) писал в 1939 году: «В действительности же более важным для любой науки является постоянное, устойчивое, тождественное» (Брэндал 1960: 41).

Такой подход нередко формулируется и в наше время. «Естественный язык – это особого рода преобразователь, выполняющий переработку заданных смыслов в соответствующие им тексты и заданных текстов в соответствующие им смыслы» (Мельчук 1974: 9). «Описать конкретный язык (или его фрагмент) значит построить для него (для его фрагмента) модель типа “Смысл ↔ Текст”». Эта модель для конкретного языка – «сложно организованная совокупность правил», их «чисто механическое применение» «должно в идеале обеспечивать» обе данные переработки (Там же: 5). «В качестве контрольного критерия выдвигается принципиальная осуществимость модели или любого ее фрагмента на вычислительной машине» (Там же: 20).

Однако почти за столетие до «Курса» Соссюра была высказана принципиально другая точка зрения. Ее сформулировал знаменитый немецкий мыслитель Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) в работе «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества». В ней он отверг «расчленение языка на слова и правила», считая его «лишь мертвым продуктом научного анализа» (Гумбольдт 1984: 70).

По мнению ученого, «язык предстает перед нами в бесконечном множестве своих элементов – слов, правил, всевозможных аналогий и всяческого рода исключений, и мы впадаем в немалое замешательство в связи с тем, что все это многообразие явлений, которое, как его ни классифицируй, все же предстает перед нами обескураживающим хаосом, мы должны возвести к единству человеческого духа» (Гумбольдт 1984: 69). «По своей действительности язык есть нечто постоянное и вместе с тем в каждый данный момент преходящее... Язык не есть продукт деятельности (*ergon*), а деятельность (*energeia*)... Язык представляет собой постоянно возобновляющуюся работу духа, направленную на то, чтобы сделать артикулируемый звук пригодным для выражения мысли» (Там же: 70). Соссюр в «Курсе» не упоминал Гумбольдта, но его формулировка о «готовом продукте», а не деятельности явно содержит скрытую полемику с ним.

Поскольку бесформенные «непроизвольные движения духа» не могут создать мысль, то невозможно мышление без языка. Гумбольдт подчеркивал творческий характер языка: «В языке следует видеть... вечно порождающий себя организм, в котором законы порождения определены, но объем и в известной мере также способ порождения остаются совершенно произвольными. Усвоение языка детьми – это... рост языковой способности с годами и упражнением» (Там же: 78). Впоследствии эти идеи будут развивать Ноам Хомский (р. 1928).

Идеи Гумбольдта, безусловно, были очень продуктивными. Но во времена, когда работал этот мыслитель, еще не мог быть создан соответствующий им научный метод, позволявший работать с конкретным языковым материалом. Язык – деятельность, но как изучать эту деятельность? Как отмечает современный автор, «несмотря на то, что идеи Гумбольдта сохраняли высокую авторитетность на протяжении как большей части XIX века, так и в XX веке, в конкретных описаниях истории и структуры различных языков они фактически не отразились» (Гаспаров 1996: 21). Поэтому большинство ученых продолжали расчленять язык на слова и правила.

Такое расчленение критиковали и позже. Немецкий ученый Карл Фосслер (1872–1949), продолжатель традиции Гумбольдта, писал в 1904 году: языковеды «язык изучают не в процессе его становления, а в его состоянии. Его рассматривают как нечто данное и завершенное, т. е. позитивистски. Над ним производят анатомиче-

скую операцию. Живая речь разлагается на предложения, члены предложения, слова, слоги и звуки», тогда как «единство организма заключается не в членах и суставах, а в его душе, в его назначении... или как это там ни назови». Анатомия может быть полезна, но суть человека не в ней, а в «назначении», то есть в функциях. Позитивисты считают, что звуки конструируют слоги, слоги – слова и т. д., пока не получится речь, но «это ложная причинная связь». «В действительности имеет место причинность обратного порядка: дух, живущий в речи, конструирует предложение, члены предложения, слова и звуки – все вместе» (Фосслер 1964: 337).

Идеи Фосслера оказали влияние на советского ученого Валентина Николаевича Волошинова (1895–1936), автора вышедшей в Ленинграде в начале 1929 года книги «Марксизм и философия языка». В разработке ее концепции, возможно, принимал участие его друг Михаил Михайлович Бахтин (1895–1975), которому иногда приписывают авторство всей книги. Несмотря на название, марксистская проблематика не является там главной, а основной объект критики – отнесенные к позитивизму идеи Ф. де Соссюра и Ш. Балли прежде всего по вопросу о разграничении языка и речи.

Волошинов отмечает, что эти идеи, у Соссюра лишь наиболее четко и последовательно изложенные, отражают давнюю традицию, выработанную для решения двух практических задач: толкования древних текстов и овладения чужими для обучаемого человека языками; здесь могут быть полезны формулировки правил. Само же существование языка в смысле Соссюра подвергается сомнению: «Субъективное сознание говорящего работает с языком вовсе не как с системой нормативно тождественных форм. Такая система является лишь абстракцией, полученной с громадным трудом, с определенной познавательной и практической установкой. Система языка – продукт рефлексии над языком, совершаемой вовсе не сознанием самого говорящего на данном языке и вовсе не в целях непосредственного говорения» (Волошинов 1995: 281–282). Реально существует лишь речь в смысле Соссюра (высказывания, в терминологии Волошинова), а «полученная с трудом абстракция» может быть «теоретически и практически оправданной лишь с точки зрения расшифровывания чужого мертвого языка и научения ему. Основую для понимания и объяснения языковых фактов в их жизни и становлении – эта система быть не может. Наоборот, она уводит нас прочь от живой становящейся реальности языка и его социальных функций» (Там же: 297–298). Хотя «язык в процессе

его практического осуществления неотделим от своего идеологического или жизненного наполнения», лингвисты стремятся расчленить их, что искажает «реальность и функции языка» (Волошинов 1995: 285). Лингвисты изучают слова и предложения, но они выделяются искусственно, и лишь «единичные высказывания являются действительной конкретной реальностью языка и... им принадлежит творческое значение в языке» (Там же: 294).

Эти идеи, безусловно, продолжали традицию, шедшую через К. Фосслера от В. фон Гумбольдта. Однако методов для изучения языка как деятельности не было предложено и здесь (в последней главе книги делалась попытка применить такие идеи к конкретному явлению – несобственно-прямой речи, однако эта глава наименее удачна). По-видимому, не только в 1830-х годах, но и в конце 1920-х годов такая задача была преждевременной. Структурализм тогда не исчерпал своих возможностей. Лингвисты были сосредоточены на изучении либо структуры языка, либо исторического развития его отдельных явлений; для того и другого достаточно было выявлять правила. Самая важная и самая сложная задача изучения функционирования языка, несмотря на отдельные пионерские идеи Гумбольдта и других, до второй половины XX века исследовалась мало. Соссюр же теоретически обосновал отказ от ее рассмотрения, отнеся к игнорируемой сфере речи. Изучение функционирования языка, помимо обособленной области экспериментальной фонетики, развивалось в основном за пределами лингвистики (в нашей стране это школа А. Р. Лурии в психологии, исследовавшая афазии и детскую речь).

Снова вернулся к рассмотрению этих вопросов Н. Хомский в полемике со структуралистами. В числе своих предшественников он всегда называл Гумбольдта, у которого он взял центральный для него термин «порождение». В книге 1965 года Хомский ввел противопоставление компетенции (*competence*) и употребления (*performance*). «Противопоставление, вводимое мною, связано с соссюровским противопоставлением *языка* и *речи*; но необходимо отвергнуть его концепцию языка как только систематического инвентаря единиц и скорее вернуться к гумбольдтовской концепции скрытой компетенции как системы порождающих процессов» (Хомский 1972а: 10). Генеративная (порождающая) парадигма «занимается обнаружением психической реальности, лежащей в основе реального поведения» (Там же). И в книге 1968 года: «Этот новый принцип имеет “творческий аспект”, который яснее всего

наблюдается в том, что может быть названо “творческим аспектом использования языка”, т. е. специфически человеческая способность выражать новые мысли и понимать совершенно новые выражения мысли на основе “установленного языка”, языка, который является продуктом культуры» (Хомский 1972б: 17). Хомский считал лингвистику частью психологии познания (Там же: 12).

Н. Хомский отказался от свойственных структурализму идей об «имманентности» лингвистики и восстановил ее связи с психологией. В то же время он в отличие от Гумбольдта или Волошинова сохранил понимание языка как системы правил. «Задачей лингвиста, как и ребенка, овладевающего языком, является выявить из данных употреблений лежащую в их основе систему правил, которой владеет говорящий-слушающий и которую он использует в реальном употреблении» (Он же 1972а: 10). Формальные грамматики у Хомского и его последователей имеют вид исчисления, для построения которого используется сложный математический аппарат.

Один из критиков идей Хомского в американской науке о языке так определяет общую логику такого подхода: представители формальной лингвистики «единодушны, по крайней мере, в одном: в основе языка лежит некоторая формальная система, представленная определенными правилами. Они также полагают, что одна из главных задач лингвистики – возможно, самая главная – понять природу данной системы и открыть законы, порождающие ее» (Чейф 2015: 60). Следует учитывать, что хомскианская лингвистика сосредоточена на решении всего одной, хотя и важнейшей проблемы: овладения языком. Она отличается от поставленной в структурализме проблемы установления языковой структуры, «пассивно регистрируемой говорящим», и требует при теоретическом объяснении выхода за пределы «чистой лингвистики». Однако здесь также устанавливаются жесткие рамки, в которых происходит работа исследователя: отделение употребления от компетенции ведет к исключению употребления из актуальной области исследований. В эту область входит выявление того, как человек может говорить, но не конкретных процессов говорения и понимания. Такой подход не раз подвергался критике. Например, В. А. Звегинцев писал: теория Н. Хомского «в конечном счете, сводится все к тем же описательным процедурам и ставит своей целью дать описание абстрактной структуры лингвистической компетенции – в идее, но не в исполнении взаимодействующей с другими видами психического

поведения человека» (Звегинцев 1996: 33–34). Такое описание предполагает наличие правил.

В то же время «хомскианская революция», о которой часто пишут, способствовала достаточно активному развитию нетрадиционных лингвистических дисциплин, изучающих не структуру, а именно функционирование языка: психолингвистики, социолингвистики, нейролингвистики. Исследования такого рода в США и ряде других стран опираются на постулаты генеративной лингвистики, хотя сам Хомский этим не занимался и выражал скептическое к ним отношение.

Наряду с генеративной и, шире, формальной лингвистикой сейчас достаточно активно развиваются разнообразные и не составляющие единства направления лингвистического функционализма. В том числе они распространены в нашей стране, где сейчас функциональная лингвистика популярнее формальной. В рамках функциональных подходов выделяются два направления: когнитивное, изучающее процессы познания с помощью языка, и коммуникативное, занимающееся процессами общения (коммуникации). Иногда когнитивной лингвистикой называют функциональную лингвистику вообще.

Тем самым при функциональных подходах снимаются ограничения, существующие в структурной и генеративной лингвистике. Об этом еще в начале 1980-х годов писал Александр Евгеньевич Кибрик (1939–2012): «Все, что имеет отношение к существованию и функционированию языка, входит в компетенцию лингвистики» (Кибрик 1992: 20). При таком подходе уже трудно считать, что «в основе языка лежит некоторая формальная система, представленная определенными правилами».

В этой работе выделялись и другие лингвистические постулаты. «Как содержательные, так и формальные свойства синтаксиса в значительной степени предопределены семантическим уровнем» (Там же: 21). «Исходными объектами лингвистического описания следует считать значения» (Там же: 24). «Устройство грамматической формы отражает тем или иным образом суть смысла» (Там же: 25). Как пишет его сын А. А. Кибрик, «в основе современного когнитивного подхода к языку лежит идея целенаправленной реконструкции когнитивных структур по данным внешней языковой формы. Реконструкция опирается на *постулат об исходной мотивированности языковой формы*: в той мере, в какой языковая форма мотивирована, она “отражает” стоящую за ней когнитивную

структуру» (Кибрик 2015: 32). Среди постулатов А. Е. Кибрика особо надо выделить такой: «Адекватная модель языка должна объяснять, как он устроен “на самом деле”» (Кибрик 1992: 19). Этот подход требует обращать внимание на процессы, происходящие в человеческом мозгу, который уже не рассматривается как «черный ящик», что было свойственно структурной лингвистике. Нельзя сказать, что функциональная лингвистика отказывается от выделения правил вообще, но такое выделение не занимает определяющего места, как это происходит в структурной и формальной лингвистике.

Теперь, рассмотрев разные этапы понимания сущности языка в науке, нужно обсудить вопрос о том, насколько эта сущность определяется правилами. Как мы видели, высказывались разные точки зрения: одни считали, что все в языке определяется правилами, в конечном итоге отражающими «постоянное, устойчивое, тождественное» (здесь обнаруживается сходство различных во всем остальном структурализма и генеративизма), другие вообще отрицали их объективное существование для носителя языка, как В. Н. Волошинов, полагая, что они конструируются и приносятся извне. Кстати, в работах Бахтина 1950-х годов язык в смысле Соссюра не отрицался, и лишь признавалось недостаточным для науки сосредоточение только на нем.

Говоря о концепции Волошинова, отвлекаюсь от явных полемических преувеличений вроде применимости понятия языка в смысле Соссюра преимущественно к мертвым языкам (с помощью правил обучают и современным языкам, а древнегреческий и латинский во время формирования лингвистической традиции также были вполне живыми языками). Но насколько верно, что для говорящего не существует никаких правил?

С одной стороны, можно согласиться с тем, что говорящий в обычных ситуациях не замечает систему и норму языка и думает лишь о передаваемом с помощью языка содержании. Это относится и к слушающему. Однако в случае помех в коммуникации, когда говорящий не знает, как выразить некоторое значение, или когда его собеседник не понимает какое-нибудь слово, они обращают внимание на язык. Тем более это происходит при недостаточном владении системой языка. Об этом писал уже упоминавшийся Б. М. Гаспаров: «Рационально организованные сведения о предмете, сообщаемые ученику и им усваиваемые, не только ускоряют обучение, но выступают в качестве главной – во всяком случае,

наиболее заметной – движущей его силы. Наблюдая, как новичок складывает, элемент за элементом, свои первые танцевальные, или шахматные, или языковые “фразы”, используя только что полученные сведения об их строении, мы видим полное торжество принципа “грамматики”... Чем дальше продвигается ученик в усвоении своего дела, тем реже он нарушает преподаанные им правила... Но вместе с этим – тем труднее оказывается разглядеть в его действиях эффект “применения” кодифицированных правил. Отдельные элементы сливаются в нерасчленимые блоки» (Гаспаров 1996: 45). Все сказанное относится и к обучению кодифицированному варианту материнского языка. Волошинов признавал практическую полезность таких правил при обращении к чужому (даже не обязательно мертвому) языку. Но при освоении языка правила не исчезают, а автоматизируются, а чужой язык или вариант языка становится своим.

Однако выучивание эксплицитно заданных правил возможно лишь при сознательном овладении языком начиная со школьного возраста. Материнским языком (иногда сразу несколькими) овладевают, по выражению Е. Д. Поливанова, «в том возрасте, для которого не существует декретов и циркуляров» (Поливанов 1927: 227). Очевидно, что здесь никто не конструирует и не привносит правила. Но следует ли из этого отсутствие всяких правил, в том числе автоматизированных?

Как уже было сказано, сейчас в большей степени, чем раньше, наука обратилась ко всему тому, что происходит «на самом деле», к реальным процессам порождения и восприятия речи, которые долго находились за пределами науки о языке. С одной стороны, учитываются результаты исследований речевых расстройств (афазий) и детской речи, которые активно ведутся в разных странах, включая СССР/Россию, уже более полувека. Они дают хотя и косвенные, но очень важные данные о функционировании языкового механизма в условиях неполного его существования: при афазиях он частично выходит из строя (при разных видах афазий по-разному), а при формировании речи у ребенка он постепенно создается.

С другой стороны, в последние 20–30 лет развивается нейролингвистика, стремящаяся непосредственно изучать процессы в мозгу. «Появились способы исследовать мозговую активность объективными инструментальными методами, начиная с ЭЭГ (электроэнцефалограммы. – В. А.) и метода вызванных потенциалов и

заканчивая томографиями – позитронно-эмиссионной и функциональной, основанной на анализе магнитного резонанса во время выполнения когнитивных задач». Кроме того, используются приборы, фиксирующие микродвижения глаз; они также дают информацию о том, что происходит в мозгу. Особо изучается деятельность полушарий мозга. Все это дает «возможность подробно регистрировать физиологические процессы, обеспечивающие память, внимание и обработку разных типов информации» (Черниговская 2013: 315–316).

Нейролингвистика делает еще первые шаги, многое остается загадкой, но уже полученные результаты имеют первостепенную важность. И в целом они подтверждают как данные по афазиям и детской речи, так и многие традиционные представления языкознания.

В частности, они позволяют преодолеть несоответствие между интуитивной важностью понятия слова и не получившими решения в течение больше ста лет попытками строго определить чисто лингвистические свойства единицы так, чтобы они совпадали с традицией; этому посвящена первая глава моей книги (Алпатов 2018: 13–102). Однако все встает на свои места, если учитывать, что слово – единица ментального лексикона, а лингвистические свойства слов, имея некоторое ядро, могут тем не менее быть различными и не совпадать в разных языках.

Сейчас в нейролингвистике приходят к такому выводу: «Можно говорить о “слоях”, составляющих язык: это *лексикон* – сложно и по разным принципам организованные списки лексем, словоформ и т. д.; *вычислительные процедуры*, обеспечивающие грамматику (морфологию, синтаксис, семантику и фонологию), механизмы членения речевого континуума, поступающего извне, и прагматика» (Черниговская 2010: 631).

Эти списки существуют в мозгу говорящих и осознаются ими. «Слово (применительно к любому языку) представляет собой едва ли не единственную единицу, представление о которой имеет любой говорящий, даже неграмотный, чего нельзя сказать... о других, значимых единицах, больших и меньших слова» (Кузнецов 1961: 75). Показательно и то, что еще не полностью овладевшие языком дети при восприятии речи выхватывают из высказываний окружающих отдельные слова, на которые происходит реакция (Лурия, Юдович 1956). Поэтому нельзя согласиться с Гумбольдтом, считавшим «расчленение языка на слова» «лишь мертвым продуктом

научного анализа», или с Волошиновым, который писал об «искусственном выделении» слов. Это все же было полемическим преувеличением. До конца XIX века слово в европейском языкознании было неопределяемым понятием и выделялось на основе лингвистической интуиции, т. е. неосознанных психолингвистических представлений, а затем начались попытки определений слова, не давшие убедительных результатов.

Наличие ментального лексикона очевидно при нарушении автоматизма правил. Однажды во время командировки в Японию я наблюдал, как целая группа японских туристов, увидев редких для этой страны животных (это были... коза с козлятами), несколько минут не могли вспомнить их название и не двигались с места. Они должны были делать запрос в свой ментальный лексикон. И как они были рады, когда один из них смог его извлечь оттуда! Слово *yagi* они повторяли один за другим.

Однако надо учитывать и «вычислительные процедуры, обеспечивающие грамматику». Исследования афазий показали, что среди них есть и расстройства, при которых лексикон сохраняется, но теряется способность соединять его единицы, и обратные случаи: свободно соединяются крайне немногочисленные единицы лексикона. Оба расстройства были зафиксированы при мозговых травмах, когда были повреждены отдельные участки мозга (Лурия 1947).

Очевидно, в мозгу имеются механизмы, обеспечивающие сочетания единиц лексикона, которые могут выйти из строя без воздействия на сам лексикон. Их естественно интерпретировать как синтаксические правила. Таким правилам (в частности, правилам порядка слов) можно выучиться на основе эксплицитных формулировок, как это происходит в современном мире в школе или вузе; при этом при превращении языка из «чужого» в «свой» эти правила начинают применяться автоматически. Но при естественном овладении языком они формируются бессознательно через общение с носителями языка. В процессе восприятия текста происходит выделение из него единиц лексикона.

Синтаксические правила – не единственные. Можно выделить по крайней мере еще один вид правил, которые могут быть названы морфологическими. Единицы ментального лексикона могут не только сочетаться, но и модифицироваться. Такие правила отражаются в традиционных понятиях словоизменения, склонения, спряжения. Они позволяют минимизировать количество единиц лекси-

кона. Если в языке имеется словоизменение, то достаточно хранить в мозгу лишь исходные единицы (формы именительного падежа единственного числа, инфинитива, основы и пр.), а все остальное получать из них применением грамматических правил. Исследования детской речи показывают, что первоначально там имеются лишь некоторые словоформы, а затем формируются «операции по созданию словоформы на основе парадигматических ассоциаций» (Цейтлин 2009: 81), и дети приобретают способность образовать любую форму неизвестного слова (Там же: 61). Опять-таки возможно и приобретение такой способности путем выучивания эксплицитных правил: парадигмы для шумерского языка, аналогичные нашим *стол, стола, столу...*, учили 4 тыс. лет назад в древнем Вавилоне.

Отмечу, что морфологические правила, по-видимому, менее универсальны, чем синтаксические. Их описание играло ведущую роль в европейской традиции, имевшей античные истоки; морфология появилась в Греции и Риме раньше, чем синтаксис. Кстати, так было не только там, но и в индийской, арабской, японской традициях (но не в китайской). Это свойство сохранилось и в отечественной лингвистике от В. К. Третьяковского и М. В. Ломоносова до наших дней. Древнегреческий, латинский и русский – синтетические языки с развитым словоизменением. Иной строй, например, у современного английского языка. И если русские дети с самого начала говорят «замороженными словоформами», англоязычные дети в том же возрасте употребляют основы слов, не используя не только служебные слова, но и аффиксы (Там же: 112). Словоизменение в этом языке, в прошлом также развитое, имеет теперь реликтовый характер, сохранившийся лишь у неправильных глаголов. Отмечают, что англоязычные исследователи афазий и детской речи исходят из постулата о разных механизмах у правильных и неправильных глаголов, хотя на основе русского материала такой вывод не подтверждается (Черниговская 2013: 173). Вероятно, характерная для англоязычной лингвистики последнего столетия тенденция «растворения» морфологии в синтаксисе имеет психолингвистические корни. А в китайском языке, по-видимому, морфологические правила отсутствуют. Этот язык часто характеризуют как язык без морфологии, а китайская традиция эту область изучения не выделяла; зато в Японии из-за иного строя языка и, вероятно, иного ментального механизма самостоятельно создали учение о спряжении и частях речи.

Все сказанное до сих пор подтверждает мнение о языке как системе правил, отчасти автоматических, отчасти эксплицитных. Точка зрения Волошинова, вообще отрицавшего существование правил для говорящего, была явно максималистской. Соссюр, ведя речь о «непреднамеренности» говорящего, имплицитно исходил из представления об автоматическом действии правил в стандартных ситуациях (не при недостаточном владении языком или возможных у любого человека помехах при общении). Но не все так просто. Один из примеров – изучение текстов длиной более чем предложение (под текстом везде понимается и письменный, и устный текст).

Уже в Античности было понятие *предложения*. И тогда, и позже, а иногда и сейчас его считали и считают максимальной единицей языка. Такой подход свойствен в том числе структурализму и генеративизму. Всегда было достаточно очевидно, что жесткие правила, еще в античное время выявленные в морфологии и синтаксисе, не распространяются или, по крайней мере, не полностью распространяются на более протяженные, чем предложения, последовательности. Поэтому уже в Античности были разработаны две дисциплины: грамматика, изучавшая предложения и их части, и риторика, обращавшаяся к правилам построения текстов, состоящих из предложений. Риторика также обладала правилами, но иного рода. Во-первых, они были менее строгими и не охватывавшими все связи между предложениями в тексте: в наибольшей степени регламентировались начало и конец текста, но мало что говорилось о той части текста, где излагается основное его содержание. Во-вторых, правила грамматики были жестко предписывающими, их нарушение считалось ошибкой, а правила риторики имели лишь рекомендательный характер.

В XX веке иногда предпринимались попытки построения лингвистики текста с использованием обычных методов, разработанных для грамматики. Особо я мог бы отметить грамматику японского языка, написанную известным лингвистом М. Токиэда (Tokieda 1956), где достаточно подробно перечислялись грамматические и лексические способы связи предложений в тексте: союзы, союзные наречия и др. Но это были лишь частные закономерности. Ни структурные, ни генеративные методы не подошли для лингвистики текста. В то же время у носителей языка, несомненно, имеется интуитивное представление о связности и несвязности того или иного текста.

С 1970-х годов в мировой науке активно изучается структура текстов, в том числе диалогических; см. представительный для своего времени сборник переводов под редакцией Т. М. Николаевой (1978). «В основе лингвистики текста с момента ее возникновения на основе прагматики, стилистики и риторики лежало представление об особых – отработанных в общении, стандартных, узнаваемых речевых *правилах*, упорядочивающих речь и при этом отличных от правил языка». «В лингвистике текста установлено, что «правила текста/речи» многомерны, вариативны и обращены к многочисленным сторонам внеязыковой действительности: к языку и тем языковым/речевым единицам, из которых текст построен, к собственному содержанию, т. е. отражаемой реальной или воображаемой действительности, к своему автору... и читателю/слушателю, к другим авторам и текстам, наконец, к культуре во всей ее совокупности» (Дементьев 2010: 79).

При столь многообразных факторах возникает вопрос: а вообще можно ли здесь говорить о наличии правил? В любом случае это не просто правила, чем-то отличные от правил языка, а нечто принципиально иное. Два соседних предложения могут не иметь ни связывающих звеньев вроде союзов или союзных наречий, ни даже повторяющейся лексики; в то же время носители языка ощущают единство темы. Могут выделяться отдельные фрагменты текста (абзацы, параграфы), при переходе от одного к другому тема меняется, но в нормальных случаях переход происходит так, что сохраняется некоторое развитие темы и остается связность. Так обстоит дело и в повествовательных (нарративных) текстах, и в диалоге, где, правда, в большей степени можно обнаружить правила обычного типа (вопросно-ответная структура и пр.), но также многое не сводится к ним.

Как это связано с мозговыми процессами? В вышеприведенной цитате из работы по нейролингвистике (Черниговская 2010) в числе «слоев, составляющих язык», упоминается прагматика. Этот термин был введен Чарльзом Уильямом Моррисом (1901–1975) в 1930-х годах и понимался как учение об отношении языка к людям, которые пользуются знаковыми системами. Сейчас так именуется дисциплина, которая занимается ролью языковых знаков в реальных процессах общения. В состав прагматики входят и такие сферы, как модальные рамки и правила социального взаимодействия между говорящим, слушающим и героями высказывания (так называемые этикет и вежливость). Авторы упомянутой

работы (Черниговская 2010) специально не раскрывают содержание того, что они называют прагматическим слоем, и, видимо, оно пока что остается менее ясным, чем содержание всего остального, но очевидна его значимость. А В. В. Дементьев подчеркивает речевой, а не языковой характер рассматриваемых им правил построения текста.

Другая проблема, плохо поддающаяся структурным или генеративным методам, относится к области лексической семантики. Как известно, в эпоху структурализма (как, впрочем, и раньше) при достаточно четком описании склонения, спряжения и других формальных свойств слов не удавалось найти подход если не ко всей, то к очень существенной части лексики. Еще в 1940 году профессор Михаил Николаевич Петерсон (1885–1962) отмечал: «Работы по лексикологии писать очень легко. Стоит только выбрать все церковнославянизмы, варваризмы, диалектизмы, вульгаризмы, определить их стилистическое значение – и работа готова. Не меньше 90 % лексикологического материала остается без применения» (Петерсон 1940: 1). Другой наш видный языковед профессор Александр Иванович Смирницкий (1903–1954) писал: «Лингвист подробно останавливается на архаизмах, выискивает различные окаменелости... но о скромных исконных словах данного языка, издавна выражавших в нем такие простые, но вместе с тем существенные понятия, как “видеть”, “лежать”, “стоять”, “ходить”, “делать”, “красный”, “синий”, “огонь”, “вода”, “дерево” и т. п., лексиколог обычно говорит очень немного (если вообще говорит что-нибудь), и то лишь мимоходом... А между тем, разумеется, если такие наиболее широко распространенные слова оставлять без внимания, то нечего думать о действительной характеристике данной лексики, о выявлении ее существенных особенностей» (Смирницкий 1956: 6–7).

Структурализм в этой области смог предложить лишь так называемый компонентный анализ: значение слова разлагалось на комбинируемые компоненты; например, значение слова *брат* делилось на компоненты «мужчина», «одно поколение», «прямое родство». Некоторые классы слов вроде обозначений родства или значительной части терминологии хорошо описывались данным образом, но не удавалось так подходить к самой, казалось бы, простой лексике, особенно к таким классам слов, как глаголы, наречия или частицы.

Положение изменилось, когда обратились к прагматике. «Прагматизация значения имела далеко идущие последствия: значение высказывания стало считаться неотделимым от прагматической ситуации, а значение многих слов начали определять через указание на коммуникативные цели речевого акта. Значение слова стало рассматриваться в связи с коммуникативной направленностью речевого акта, то есть как орудие, посредством которого мы совершаем действие» (Арутюнова, Падучева 1985: 13). То есть семантика большого количества слов определяется тем, что Соссюр относил к речи. И вопреки швейцарскому ученому их выбор и использование не могут не быть преднамеренными.

Два приведенных примера очень существенны и показывают, что не все в языке определяется правилами в обычном смысле. Это интуитивно нащупывали языковеды, начиная с В. фон Гумбольдта. Вспомним, в частности, формулировку К. Фосслера (1964: 328): «Дух, живущий в речи, конструирует предложение, члены предложения, слова и звуки – все вместе». Разумеется, сейчас уже не говорят о духе. Но заслуживает внимания рассуждение о том, что «конструируется все вместе». При порождении речи создаются, по выражению Б. Гаспарова, «нерасчленимые блоки». Как указывал еще Фосслер, имеются, с одной стороны, грамматические формы, которые «всегда коренятся в языковом навыке всего коллектива и не могут поэтому приспособляться ко всем импульсам, настроениям и потребностям отдельной границы грамматики своего родного языка». С другой стороны, «личность, поскольку она обладает языковой силой, может сместить границы грамматики своего родного языка» (Фосслер 2007: 79). А система звуков (фонем) сама по себе задана, но творческие способности индивидуума могут проявиться в интонации, ритме и прочем (Там же).

Таким образом, когда мы говорим, то одновременно используем заложенные в мозгу и более или менее единые для всех членов языкового коллектива автоматические правила и осознанно по намного менее строгим правилам передаем свои индивидуальные мысли; именно последнее называют деятельностью. Выделяя первый компонент, формировались античная и структурная грамматика, о втором компоненте говорила риторика, а позднее Гумбольдт и его последователи. Первый компонент всегда был исследован намного лучше, и экспериментальное его изучение в психолингвистике и нейролингвистике продвинулось достаточно далеко. «Головокружение от успехов» здесь иногда приводило к идеям о близ-

кой реализации модели на вычислительной машине, чего пока что, впрочем, достичь не удалось. Второй компонент начал всерьез изучаться лишь в 60–70-х годах XX века, но прагматика, теория речевых актов, дискурсный анализ, изучение речевых жанров и прочее были и остаются важной частью функциональной лингвистики. Развиваются и экспериментальные исследования соответствующих явлений в мозгу. Здесь пока много неясного, а уровень строгости в исследованиях такого рода (разумеется, не в экспериментальных) значительно понижился. Речь идет не только о машинной реализации, но и о проверяемости результатов. Но уже сделанного достаточно, чтобы считать, что оба вышеуказанных компонента являются необходимыми для изучения в науке о языке.

Литература

Алпатов, В. М. 2018. *Слово и части речи*. М.: Языки славянских культур.

Арутюнова, Н. Д., Падучева, Е. В. 1985. Истоки, проблемы и категории прагматики. В: Городецкий, Б. Ю. (ред.), *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XVI. *Лингвистическая прагматика*. М.: Прогресс, с. 3–42.

Балли, Ш. 2003. *Язык и жизнь*. М.: URSS.

Брёндаль, В. 1960. Структурная лингвистика. В: Звегинцев, В. А., *История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях*. Ч. II. М.: Учпедгиз, с. 40–46.

Волошинов, В. 1995. *Философия и социология гуманитарных наук*. СПб.: Аста-пресс.

Гаспаров, Б. М. 1996. *Язык, память, образ*. М.: Новое литературное обозрение.

Гумбольдт, В. фон. 1984. *Избранные труды по языкознанию*. М.: Прогресс.

Дементьев, В. В. 2010. *Теория речевых жанров*. М.: Знак.

Звегинцев, В. А. 1996. *Мысли о лингвистике*. М.: МГУ.

Кибрик, А. А. 2015. Когнитивный подход к языку. В: Кибрик, А. А., Кошелев, А. Д. (сост.), *Язык и мысль. Современная когнитивная лингвистика*. М.: Языки славянской культуры, с. 29–59.

Кибрик, А. Е. 1992. Лингвистические постулаты. В: Кибрик, А. Е., *Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания*. М.: МГУ, с. 17–27.

Кузнецов, П. С. 1961. *О принципах изучения грамматики*. М.: МГУ.

Лурия, А. Р. 1947. *Травматическая афазия*. М.: Изд-во АМН.

Лурья, А. Р., Юдович, Ф. Я. 1956. *Речь и развитие психических процессов у ребенка*. М.: Изд-во АПН.

Мельчук, И. А. 1974. *Опыт теории лингвистических структур «Смысл ↔ Текст». Семантика, синтаксис*. М.: Наука.

Николаева, Т. М. (ред.) 1978. *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. VIII. М.: Прогресс.

Петерсон, М. Н. 1940. К вопросу о построении лексикологии. *Русский язык в школе* 6: 1–8.

Поливанов, Е. Д. 1927. О литературном (стандартном) языке современности. *Родной язык в школе*. Кн. 1. М., с. 225–235.

Смирницкий, А. И. 1956. *Лексикология английского языка*. М.: Изд-во лит-ры на иностранных языках.

Соссюр, Ф. де. 1977. Курс общей лингвистики. В: Соссюр, Ф. де, *Труды по языкознанию*. М.: Прогресс, с. 35–273.

Фосслер, К.

1964. Позитивизм и идеализм в языкознании. В: Звегинцев, В. А., *История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях*. 3-е изд., доп. Ч. I. М.: Просвещение, с. 324–335.

2007. *Эстетический идеализм: избранные работы по языкознанию*. М.: ЛКИ.

Хомский, Н.

1972а. *Язык и мышление*. М.: МГУ.

1972б. *Аспекты теории синтаксиса*. М.: МГУ.

Цейтлин, С. Н. 2009. *Очерки по словообразованию и формообразованию в детской речи*. М.: Знак.

Чейф, У. 2015. На пути к лингвистике, основанной на мышлении. В: Кибрик, А. А., Кошелев, А. Д. (сост.), *Язык и мысль. Современная когнитивная лингвистика*. М.: Языки славянских культур, с. 60–85.

Черниговская, Т. В.

2010. Мозг и язык: врожденные модели или обучающая сеть? В: Костюк, В. В. (ред.), *Научные сессии общих собраний Российской академии наук. 2002–2009*. М.: Наука, с. 313–318.

2013. *Чеширская улыбка кота Шредингера: язык и сознание*. М.: Языки славянской культуры.

Tokieda Motoki. 1956. *Nihon-bumpoo. Koogohen*. Tokyo: Iwanami-shoten.